





Лев Толстой

Севастопольские рассказы

Кзаки

ПОЛКА

альпина
ПРОЗА

Москва, 2025

Иллюстрация на фронтисписе:
Лев Толстой. Фотография с дагеротипа 1854 года.
Звенигородский историко-архитектурный
и художественный музей.

*Текст печатается по изданию: Толстой Л. Н. Собрание сочинений
в 22 томах. Т. 2, 3. — М.: Художественная литература, 1978.*

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44
Т53

Толстой Л.

Т53 Севастопольские рассказы. Казаки / Лев Толстой. — М. : Альпина
Паблишер, 2025. — 340 с. : ил. — (Главные книги русской литературы).
ISBN 978-5-9614-9248-4

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-9614-8300-0 (серия)
ISBN 978-5-9614-9248-4

*Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена
в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая
размещение в интернете и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ
для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца
авторских прав. По вопросу организации доступа к электронной библиотеке
издательства обращайтесь по адресу tu@lib@alpina.ru.*

© Курицын В., 2022
© Зубков К., 2024
© ООО «Альпина Паблишер», 2025

Предисловие «Полки»

*Полухудожественные, полурепортажные очерки
из горячей точки 1855 года. Толстой показывает
войну как никто до него и вырывается в первые
ряды русской литературы.*

Вячеслав Курицын



О ЧЕМ ЭТА КНИГА?

О кульминационном эпизоде Крымской войны — блокаде Севастополя превосходящими силами англо-франко-турецкой коалиции, которая продолжалась с осени 1854-го по август 1855-го. В книге отражены ситуация в городе, конкретные военные операции и переживания их участников. Три рассказа цикла — «Севастополь в декабре месяце», «Севастополь в мае», «Севастополь в августе 1855 года» — охватывают весь период осады.

КОГДА ОНА НАПИСАНА?

В 1855 году, синхронно с описываемыми событиями, большей частью на месте действия, в армейском лагере. Сначала был замысел рассказа «Севастополь днем и ночью», разбившийся на две части: «дневной» «Севастополь в декабре месяце» сочинялся с 27 марта по 25 апреля, «ночной» «Севастополь в мае» был создан примерно за неделю в двадцатых числах июня. Работа над «Севастополем в августе» началась в середине сентября, а завершилась уже после того, как автор покинул фронт, в конце года в Петербурге.

КАК ОНА НАПИСАНА?

По-разному. Первый текст более других похож на очерк. Невидимый собеседник водит читателя по городу: вот бульвар

с музыкой, вот госпиталь с героями, а вот здесь воюют, убивают и умирают; Борис Эйхенбаум даже назвал первый рассказ «путеводителем по Севастополю». Второй текст — психологический этюд в форме рассказа. Толстой с пугающей осведомленностью описывает мысли и чувства довольно многочисленных военных персонажей. Завершается рассказ эффектной аллегорией: воин, уверенный, что погибнет, остается жить, а воин, думающий, что спасся, умирает.

Третий текст, по наблюдению того же Эйхенбаума, это «этюд большой формы». История двух братьев, которые, встретившись в начале рассказа, гибнут в его конце, так больше и не увидев друг друга; автор словно приходит к выводу, что реальность не может быть постигнута с помощью очерка или рассуждения, а требует выражения через сложный (в идеале семейный) сюжет. Всеми этими разными способами письма Толстой решал одну задачу: передать реальность «какова она есть на самом деле». «Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, — правда» — последние фразы второго рассказа.

ЧТО НА НЕЕ ПОВЛИЯЛО?

Толстой, несмотря на подчас весьма строгую интонацию в оценке классиков и современников, был очень

восприимчивым автором. Исследователи находят в «Севастопольских рассказах» влияние Теккерея, которого Лев Николаевич как раз в это время читал по-английски («объективность»), нравоучительной традиции от Руссо до Карамзина, Гомера (откровенность в изображении батальных подробностей), Стендаля (тема денег на войне; этого автора Толстой и сам напрямую объявлял своим предшественником в описании войны), Стерна с его дискурсивными экспериментами (Стерна Толстой переводил на русский язык) и даже Гарриет Бичер-Стоу*¹ (из ее рассказа «Дядя Тим», опубликованного в «Современнике» в сентябре 1853-го, Толстой позаимствовал тон разговора с читателем: «Видите ли вы там, вдали, домик, окрашенный темною краской?»).

Кроме того, Толстой (как минимум в первом тексте цикла) ориентировался на текущую журнальную и газетную публицистику. Жанр «письма с места событий», известный еще со времен «Писем русского путешественника», прекрасно дожил до середины пятидесятых. «Письмо из Севастополя. Севастополь, 21 декабря 1854 года» (Г. Славони), «Из Симферополя, 25 января 1855 года» (Н. Михно) — названия

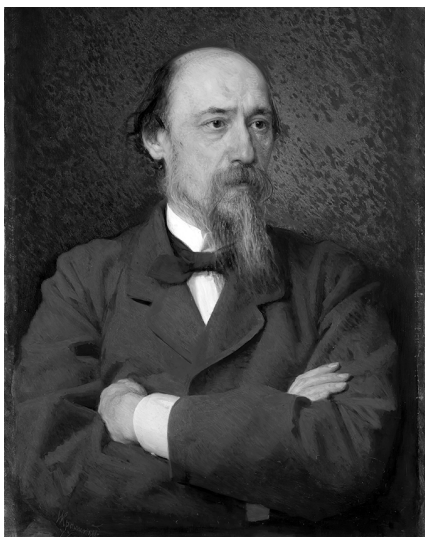
типичные. А очерк А. Комарницкого «Севастополь в начале 1855 года» («Одесский вестник», 2 и 5 апреля) не только напоминает текст Толстого названием, но и использует прием обращения к читателю («Знаете ли вы севастопольских моряков? Если скажете, что знаете, я спрошу вас: были ли вы, хоть один раз, в Севастополе, со дня его осады? Не были? — значит, вы не знаете его защитников»).

КАК ОНА БЫЛА ОПУБЛИКОВАНА?

Все три рассказа сначала напечатаны в журнале «Современник»: дважды под разными подписями, а один раз вовсе без указания автора.

Первый появился в шестом номере за 1855 год с подписью «Л. Н. Т.» (все предыдущие опубликованные на тот момент и в том же издании тексты сочинителя подписывались схожим образом: Л. Н. — «Детство» и «Набег» и Л. Н. Т. — «Отрочество» и «Записки маркера») и с незначительными цензурными правками («белобрысенький» мичман стал «молоденьким» во избежание насмешливой интонации, «вонючая грязь»

*¹ Гарриет Элизабет Бичер-Стоу (1811–1896) — американская писательница. Преподавала в школе для девочек, писала рассказы. Книга, которая принесла ей мировую известность, — «Хижина дяди Тома» (1852). Роман о чернокожем рабе приобрел в Америке огромную популярность (за первый год продажи книги составили 350 тысяч экземпляров) и стал предвестником Гражданской войны, начавшейся спустя 10 месяцев после публикации первой главы романа.



Николай Некрасов. Портрет Ивана Крамского. В журнале Некрасова «Современник» впервые были опубликованы «Севастопольские рассказы»

и «неприятные следы военного лагеря» исчезли как намек на недоработки военного руководства).

Второй рассказ (известный нам как «Севастополь в мае»; при первой публикации в сентябрьском номере 1855 года он назывался «Ночь весною 1855 года в Севастополе») подвергся чудовищной цензуре. Сначала множество правок внесла редакция, высоко оценившая художественный уровень рассказа, но испугавшаяся «беспощадности и безотрадности» (причем это были не только

сокращения, но и вписывания «патриотических фраз»). Потом председатель цензурного комитета Михаил Мусин-Пушкин вовсе запретил печатать текст, но в итоге (возможно, узнав, что творчеством Толстого интересуются «на самом верху») разрешил публикацию — уже и со своими значительными вмешательствами. В результате редакция сама сняла подпись автора и извинялась перед Толстым, что иначе поступить не могла.

Третий рассказ автор завершил перед самым Новым годом; чтобы успеть напечатать его в январской книжке «Современника» за 1856-й, редакция, разрезав рукопись на части, раздала ее восьмерым наборщикам. Автор, находившийся в Петербурге, мог следить за процессом и вносил дополнения в текст по ходу набора. Видимо, он остался удовлетворен результатом, поскольку под «Севастополем в августе 1855 года» впервые появилась в печати подпись «граф Л. Толстой».

КАК ЕЕ ПРИНЯЛИ?

Первый рассказ, «Севастополь в декабре», еще до выхода номера журнала в свет Петр Плетнев^{*1} представил в оттиске Александру II. Рассказ, воспевавший

^{*1} Петр Александрович Плетнев (1791–1866) — критик, поэт, преподаватель. Близкий друг Пушкина. Был учителем словесности в петербургских женских институтах, кадетских корпусах, Благородном пансионе, преподавал литературу будущему императору Александру II. С 1840 по 1861 год — ректор Санкт-Петербургского университета. Писал стихи и критические статьи, был редактором альманаха «Северные цветы» и журнала

героизм, произвел на монарха сильное впечатление, он распорядился перевести текст на французский, сокращенный вариант появился в *Le Nord* (эта газета выходила в Брюсселе на деньги русского правительства) под названием «*Une journée à Sebastopol*», а затем в *Journal de Francfort*.

Российская военная газета «Русский инвалид» скоро перепечатала рассказ в больших «извлечениях», назвав текст «истинно превосходной статьей». Панаев: «Статья эта с жадностью прочлась здесь всеми». Тургенев: «Совершенный восторг»; «Статья Толстого о Севастополе — чудо! Я прослезился, читая ее, и кричал: ура!». Некрасов: «Успех огромный». «Петербургские ведомости»: «Высокое и яркое дарование». «Библиотека для чтения»: «Замечательная статья». «Отечественные записки»: «Заставил восторгаться»; «вы удивляетесь на каждом шагу». Иван Аксаков^{*1}: «Очень хорошая вещь, после которой хочется в Севастополь — и кажется, что не трусишь и храбриться не станешь. Какой тонкий и в то же время теплый анализ в сочинениях этого Толстого».

После «Севастополя в мае» «Санкт-Петербургские ведомости» сообщили, что Толстой «становится наряду с лучшими нашими писателями». «Отечественные записки» опубликовали выдержки с комментариями: «Жизнь, и чувство, и поэзия». Журнал «Пантеон»: «Самое полное и глубокое впечатление». «Военный сборник»: «Изображено так живо, так естественно, что невольно увлекает и переносит на самый театр действий, как бы ставит самого читателя непосредственным зрителем событий». Чаадаев: «Очаровательная статья». Чернышевский: «Изображение внутреннего монолога надобно, без преувеличения, назвать удивительным» (не исключено, кстати, что Чернышевский первым и именно в этой фразе употребил выражение «внутренний монолог» в смысле, близком к «поток сознания»). Тургенев, прочитавший рассказ целиком, в цензурном виде: «Страшная вещь». Писемский (также о полном варианте): «Статья написана до такой степени безжалостно... что тяжело становится читать».

«Современник» после смерти Пушкина. В 1846 году продал «Современник» Николаю Некрасову и Ивану Панаеву.

^{*1} Иван Сергеевич Аксаков (1823–1886) — публицист, поэт, общественный деятель, издатель нескольких славянофильских журналов и газет. Сын писателя Сергея Аксакова, брат славянофила Константина Аксакова, был женат на дочери Федора Тютчева. Играл важную роль в жизни Московского славянского комитета, с 1875 по 1878 год был его председателем. После выступления Аксакова с критической речью по поводу Берлинского конгресса, созванного для пересмотра условий мирного договора в Русско-турецкой войне, публицист был выслан из Москвы, а сам комитет закрыт.



Константиновская батарея. Из «Севастопольского альбома» Николая Берга. 1858 год

«Севастополь в августе 1855 года» Некрасов назвал уже повестью, подчеркивая, что достоинства ее «первоклассные: меткая, своеобразная наблюдательность, глубокое проникновение в сущность вещей и характеров, строгая, ни перед чем не отступающая правда, избыток мимолетных замечок, сверкающих умом и удивляющих зоркостью глаза, богатство поэзии, всегда свободной, вспыхивающей внезапно и всегда умеренно, и, наконец, сила — сила, всюду разлитая, присутствие которой слышится в каждой строке, в каждом небрежно оброненном слове — вот достоинства повести».

«Русский инвалид» написал, что «русский сказ дышит истиною». «Петербургские

ведомости»: «Типы солдат очерчены... художнически... их разговоры и шутки — все это дышит истинною жизнью, неподдельною натурою». Писемский: «Этот офицеришка всех нас заключает. Хоть бросай перо». Правда, критик Степан Дудышкин в «Отечественных записках» писал, что «Август» повторяет предыдущие севастьяпольские тексты Толстого и именно поэтому автор перестал их писать; и это любопытное замечание, Толстой действительно обкатывает в третьем тексте открытия двух первых, пока только нащупывая возможность сотворить с их помощью большую форму.

Однако в целом рассказы по-прежнему оцениваются очень высоко. Дружнин пишет про три сразу: «Из числа всех

неприятельских держав, войска которых были под стенами нашей Трои, ни одна не имела у себя хроникера осады, который мог бы соперничать с графом Львом Толстым». Аполлон Григорьев: «Картина мастера, строго задуманная, выполненная столь же строго, с энергиею, сжатостью, простирающейся до скупости в подробностях, — произведение истинно поэтическое и по замыслу, то есть по отзыву на величавые события, и по художественной работе».

Итоги подвел сам Толстой в черновике романа «Декабристы», характеризуя одного из проходных персонажей: «Мало того, что он сам несколько недель сидел в одном из блиндажей Севастополя, он написал о Крымской войне сочинение, приобретшее ему великую славу, в котором он ясно и подробно изобразил, как стреляли солдаты с бастионов из ружей, как перевязывали на перевязочном пункте перевязками и хоронили на кладбище в землю».

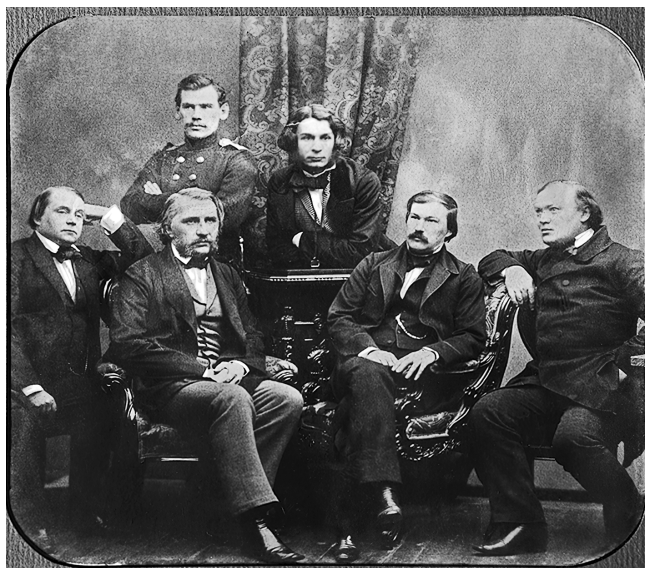
ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

В конце 1855-го Толстой триумфально въехал в Петербург (отставку он получит почти через год, но его статус военнослужащего этот год будет носить совершенно формальный характер). Во всех редакциях устраиваются обеды в честь нового гения, все ищут общения, Тургенев уговаривает его переехать из гостиницы к нему, Некрасов подписывает

с ним соглашение о публикации всех новых произведений в «Современнике». Толстой пишет «Двух гусар», готовит к выпуску свои первые книги (издателем выступает книгопродавец Алексей Иванович Давыдов): интересующие нас «Военные рассказы» (которые при подаче рукописи в цензуру назывались «Военные истины»; кроме севастопольских историй туда вошли «Набег» и «Рубка леса») и «Детство и отрочество». Дружинин и Панаев берут шефство над молодой звездой, пытаются помочь в редакции, «облегчить» произведения для восприятия простым читателем, и Лев Николаевич не против, соглашается укорачивать особо длинные предложения¹.

Но сам укрощению не поддается. Ударяется, к ужасу своих новых друзей, в кутежи, дневник его этих месяцев полон плотских стенаний. На литературных сборищах ведет себя неpolitкорректно, режет налево-направо правду-матку (Тургенев даже именуется Толстого «троглодитом»), а в конфликте между революционным (Чернышевский, Добролюбов) и либеральным (Тургенев, Гончаров, Григорович) крыльями «Современника» ничью сторону не занимает, хотя оба крыла на него претендовали.

При этом в начале года умирает брат Толстого Николай, в Петербурге писатель переживает несколько не слишком удачных любовных приключений, да и литературные дела идут не так блестяще, как хотелось бы. Оказывается,



Групповой портрет писателей — членов редколлегии журнала «Современник». Во втором ряду: Лев Толстой и Дмитрий Григорович. Сидят: Иван Гончаров, Иван Тургенев, Александр Дружинин и Александр Островский. 1856 год. Фотография Сергея Левицкого

признание критики не равно интересу публики. Несмотря на то что Толстой согласился, чтобы его книгам была назначена цена полтора рубля серебром за экземпляр вместо двух, назначенных первоначально автором (для сравнения: новый сборник Тургенева продавался за четыре), торговля шла сдержанно, остатки двухтысячных тиражей лежали в магазинах еще через три года².

Позднее он напишет об этом периоде в «Исповеди»: «Люди эти мне опротивели, и сам себе я опротивел». Получив отставку, Толстой уезжает в Ясную Поляну, потом за границу; вернувшись оттуда, увлекается организацией школ для крестьянских детей. В литературный мир он вернется заметно позже.

ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ «СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ РАССКАЗЫ» ЦЕЛОСТНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ?

Вопрос дискуссионный. В центре каждого из рассказов — подчеркнуто разные темы. «Севастополь в декабре»: удивительное сочетание в одном пространстве мирной городской и кровавой военных реальностей; кроме того, здесь довольно много говорится о беспримерном мужестве русских войск. Герои здесь практически не выделены, герой — масса.

«Севастополь в мае»: на переднем плане вопрос тщеславия, выявление механизмов, определяющих поведение человека на войне, сочетание

храбрости и трусости в одной и той же грешной душе, «аристократизм» подлинный и мнимый: довольно радикальное (и на фоне воспевания героизма в первом рассказе, и вообще на фоне традиции) расширение проблематики батальной прозы. Персонажей «Севастополя в мае» почти столь же сильно, как жизнь и смерть, волнует, как они выглядят в глазах окружающих и достаточно ли пренебрежительно ведут себя в отношении нижестоящих. Это и смутило цензуру: на месте подвига и патриотизма оказалась игра мелких страстей.

И, наконец, «Севастополь в августе»: главные герои, братья Козельцовы, больше похожи на живых людей, чем аллегорические персонажи «Мая», при этом они не высокие аристократы, а дворяне средней руки, и представления о «честь» у них более человечны и теплы. Главной же внешней проблемой в рассказе представлена отвратительная организация, бардак, неумение военных властей наладить быт и логистику (о чем в первых текстах речи не шло).

Таким образом, основные темы каждого из текстов не очень плотно монтируются друг с другом. Рассказы «не образуют целостного повествования... Особенно очевидна противопоставленность второго рассказа первому и третьему»³. От подчеркнутого героизма «Севастополя в декабре месяце» почти нет следа в следующих двух

сочинениях, но при этом мелкие страсти не отменяют способности воинов к самопожертвованию; светские развлечения во втором рассказе выглядят как признак «аристократической» гнильцы, а в первом — как естественное состояние военного космоса, даже своего рода мудрость жизни; в третьем рассказе активно продвигается идея абсурда войны, а в первом война подавалась как будничное состояние мироздания; такого рода противоречий — много. Если попытаться описать книгу как единое целое, концы с концами сойдутся не слишком охотно. Не стоит, однако, забывать, что это вообще важное свойство поэтики Толстого: концы с концами не сходятся у него часто, и особенно выразительным образом — в «Войне и мире». Не исключено, что невозможность заверщенного, непротиворечивого высказывания является главным «месседжем» этого сочинителя.

ЧТО ТОЛСТОЙ ДЕЛАЛ В СЕВАСТОПОЛЕ?

В мае 1853 года Толстой, служивший юнкером на Кавказе, решил оставить армию и подал прошение об отставке, которая, однако, не была принята ввиду начавшейся Крымской войны. Тогда Толстой попросил о переводе в Дунайскую армию, а затем и в осажденный Севастополь.

Он прибыл в город 7 ноября 1854 года, а окончательно покинул его в начале ноября 1855-го. Поначалу, проведя в Севастополе девять дней, Толстой был приписан к батарее, которая находилась на отдыхе в шести верстах от Симферополя, и долго не участвовал в битвах, даже просился (безуспешно) в феврале о переводе в воюющее подразделение в Евпаторию. Но вскоре его перевели в Бельбек, в ночь с 10 на 11 марта он участвовал в опасной вылазке, а вскоре попал на самый опасный Язоновский редут четвертого бастиона уже в самом Севастополе, где полтора месяца принимал активное участие в военных действиях. Вскоре после большого сражения 10–11 мая его снова перевели в менее опасное место (был назначен командовать двумя орудиями горного взвода несколько в отдалении от города), но позже он вновь оказался на передовой, в том числе участвовал в решающих и трагических для русской армии сражениях 4 и 27 августа 1855 года (в последнем командовал пятью пушками).

Толстой был награжден орденом Святой Анны 4-й степени «За храбрость», медалями «За защиту Севастополя 1854–1855» и «В память войны 1853–1856». Собственно батальных подробностей в исторических документах не зафиксировано, зато есть воспоминание сослуживца⁴ о забаве Толстого «пройти перед жерлом заряженной пушки в немногие секунды, которые

отделяли вылет ядра от поднесения фитиля» — и другое воспоминание: когда на бастион приходили знакомые зеваки, подобные экскурсantu из «Севастополя в декабре», Лев Николаевич тут же велел открывать огонь по противнику, чтобы экскурсanty поприсутствовали при ответном.

В отдалении от театра военных действий и в промежутках между сражениями Толстой успевал заниматься многими разнообразными делами. Ездил на охоту, «в Симферополь танцевать и играть на фортепьянах с барышнями» (письмо брату Сергею 3 июля 1855), много играл в штосс и проигрывал крупные суммы, читал книги, писал повесть «Юность», сочинял боевые воззвания, писал аналитическую записку «Об отрицательных сторонах русского солдата и офицера» и всерьез планировал учредить периодическое военное издание.

В современном (да и во вневременном) российском контексте очень уместно привести также следующее воспоминание, подтвержденное разными источниками⁵: «По обычаю того времени, батарея была доходной статьей, и командиры батареи все остатки от фуража клали себе в карман. Толстой же, сделавшись командиром батареи, взял да и записал на приход весь остаток фуража по батарее. Прочие батарейные командиры, которых это било по карману и подводило в глазах начальства, подняли бунт: ранее



Орден Святой Анны 4-й степени

никаких остатков никогда не бывало и их не должно было оставаться». По итогам этой истории Толстой командовать батареей перестал, а тему доходов командования от хозяйственной деятельности затронул в 18-й главке «Севастополя в августе».

Менее признанный отзыв о Толстом в Севастополе оставил Порфирий Глебов, помощник начальника штаба артиллерии Южной армии. 13 сентября 1855 года он писал в дневнике, что при главной квартире слишком много офицеров — «башибузуков» с не совсем ясными обязанностями («большая часть их толкается с утра до вечера по Бахчисараю; некоторые же отправились кавалькадой на горный

берег»), к которым относится и Толстой. «...Толстой порывается понюхать пороха, но только налетом, партизаном, устраняя от себя трудности и лишения, сопряженные с войною. Он разъезжает по разным местам туристом; но как только слышит где выстрел, тотчас же является на поле брани; кончилось сражение, — он снова уезжает по своему произволу, куда глаза глядят». Вряд ли в XXI веке можно объективно оценить такое поведение Толстого с тогдашней военной точки зрения. Но бросается в глаза связь этого документального образа с будущим образом художественным: таким туристом на войне будет выведен лет десять спустя Пьер Безухов. И мы понимаем, что позиция слегка-туриста-где-бы-то-ни-было имеет какое-то важное отношение к тайнствам литературного творчества. Завершается же дневниковая запись Глебова так:

Говорят про него [Толстого] также, будто он, от нечего делать, и песенки пописывает и будто бы на 4 августа песенка его сочинения:

*Как четвертого числа
Нас нелегкая несла, —
Горы занимать,
Горы занимать! и т. д.*

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ
ТОЛСТОЙ СОЧИНИЛ ПЕСНЮ
СО СЛОВАМИ «ГЛАДКО БЫЛО
НА БУМАГЕ, ДА ЗАБЫЛИ
ПРО ОВРАГИ»?

Во всяком случае сам Толстой это признавал. Сначала он не отрицал и свое авторство в отношении другой севастопольской военной песни («Как восьмого сентября мы за веру, за царя от француз ушли...»), но потом уточнил, что имеет к ней лишь косвенное отношение (ясно, что такого рода тексты чаще всего результат коллективного творчества), а в случае «Четвертого числа» выступил основным автором. Вот полный текст песни (которая, конечно, не имеет авторизованной рукописи):

*Как четвертого числа
Нас нелегкая несла
Горы отбирать (bis).*

*Барон Вревский*¹ генерал
К Горчакову*² приставал,
Когда подшофе (bis).*

*«Князь, возьми ты эти горы,
Не входи со мною в ссору,
Не то донесу» (bis).*

*Собирались на советы
Все большие эполеты,
Даже Плац-бек-Кок (bis).*

*Полицмейстер Плац-бек-Кок
Никак выдумать не мог,
Что ему сказать (bis).*

*Долго думали, гадали,
Топографы все писали
На большом листу (bis).*

*Гладко вписано в бумаге,
Да забыли про овраги,
А по ним ходить... (bis)*

*¹ Павел Александрович Вревский (1809–1855) — российский военачальник. Участвовал в войне с Турцией 1828–1829 годов, был контужен и вышел в отставку. Вскоре вернулся на службу и принимал участие в подавлении Польского восстания 1830–1831 годов. Провел четыре года на Кавказе. Во время Крымской войны Вревский настоял на том, чтобы русская армия из осажденного Севастополя перешла в наступление. Однако сражение на Черной речке было проиграно, а сам Вревский был убит в бою, отказавшись покидать поле битвы.

*² Михаил Дмитриевич Горчаков (1793–1861) — российский военачальник. Участвовал в Отечественной войне (в том числе в сражении при Бородине) и Заграничном походе 1813–1814 годов. Воевал на Русско-турецкой войне 1828–1829 годов и участвовал в подавлении Польского восстания 1830–1831 годов. Во время Крымской войны руководил Дунайской армией, а при отступлении — Южной армией, которая была расположена на северо-западном побережье Черного моря. Горчаков руководил обороной Севастополя с февраля по август 1855 года. После смерти фельдмаршала Паскевича был назначен наместником Царства Польского и главнокомандующим 1-й армии.

*Выезжали князя, графы,
А за ними топографы
На Большой редут (bis).*

*Веймарн*⁴ плакал, умолял,
Чтоб немножко обождал.
«Нет, уж пусть идут» (bis).*

*Князь сказал: «Ступай, Липранди*¹»
А Липранди: «Нет-с, атанде*²,
Нет, мол, не пойду (bis).*

*Генерал же Ушаков*⁵,
Тот уж вовсе не таков:
Все чего-то ждал (bis).*

*Туда умного не надо,
Ты пошли туда Реада*³,
А я посмотрю...» (bis)*

*Он и ждал да дожидался,
Пока с духом собирался
Речку перейти (bis).*

*Вдруг Реад возьми да спросту
И повел нас прямо к мосту:
«Ну-ка, на уру» (bis).*

*На уру мы зашумели,
Да резервы не поспели,
Кто-то переврал (bis).*

*¹ Павел Петрович Липранди (1796–1864) — российский военачальник. Младший брат сотрудника тайной полиции Ивана Липранди. Участвовал в Отечественной войне, Заграничном походе 1813–1814 годов, Русско-турецкой войне 1828–1829 годов и подавлении Польского восстания 1830–1831 годов. Во время Крымской войны был назначен начальником Мало-Валахского отряда. Липранди имел репутацию мудрого генерала, заботящегося о солдатах, — за время своего командования он не подверг телесному наказанию ни одного из них.

*² *От фр. attendez* — «стой», «погоди».

*³ Николай Андреевич Реад (1793–1855) — российский военачальник. Участвовал в Отечественной войне, Заграничном походе 1813–1814 годов и взятии Парижа. Сопровождал Николая I во время Русско-турецкой войны 1828–1829 годов. Принимал участие в подавлении Польского восстания 1830–1831 годов, несколько лет служил на Кавказе. Во время Крымской войны оборонял Севастополь. Во время боя на Черной речке войска Реада частично заняли Федюхины высоты, но из-за преобладающих сил коалиционных войск русской армии пришлось отступить. Генерал погиб в бою.

*⁴ Петр Владимирович Веймарн (? — 1855) — российский военачальник. Участвовал в Отечественной войне, Заграничном походе 1813–1814 годов, польской кампании 1830–1831 годов. Во время Крымской войны был начальником штаба 3-го пехотного корпуса, находился под командованием генерала Николая Реада. Генерал Веймарн был убит в бою на Черной речке, вскоре после того, как, согласно приказу Реада, велел своей дивизии идти в атаку.

*⁵ Александр Клеонакович Ушаков (1803–1877) — российский военачальник. Участвовал в Русско-турецкой войне 1828–1829 годов, подавлении Польского восстания 1820–1831 годов, а также венгерской кампании 1849 года. Во время Крымской войны дивизия Ушакова вошла в состав Севастопольского гарнизона и приняла участие в бою на Черной речке. После войны Ушаков служил в Военном министерстве, работал над военно-судебной реформой. С 1867 года был председателем главного военного суда.

*А Белевцов*¹ генерал
Все лишь знамя потрясал,
Вовсе не к лицу (bis).*

*И пришлось нам отступать,
Раз...и же ихню мать,
Кто туда водил (bis).*

*На Федюхины высоты*²
Нас пришло всего три роты,
А пошли полки!.. (bis)*

*Наше войско небольшое,
А француза было вдвое,
И сикурсу*³ тьма (bis).*

*Ждали — выйдет с гарнизона
Нам на выручку колонна,
Подали сигнал (bis).*

*А там Сакен*⁴ генерал
Все акафисты читал
Богородице (bis).*

Смысл песни в том, что неудачное сражение на реке Черной 4 августа 1855 года стало следствием недовольства, которое разного рода начальство испытывало из-за «бездействия» главнокомандующего князя Михаила Горчакова; по сути дела, штабным нужна была хоть какая-нибудь битва. Горчаков возражал против нее до последнего, но на созванном представительном совещании («Собирались на советы / Все большие эполеты...») было принято идти в бой. Все дальнейшие куплеты точно передают конкретные перипетии этого оказавшегося трагическим предприятия.

*¹ Дмитрий Николаевич Белевцов (1800–1883) — российский военачальник. Участвовал в Русско-турецкой войне 1828–1829 годов и подавлении Польского восстания 1830–1831 годов. Во время Крымской войны командовал дружиной Курского ополчения. После войны Белевцов был почетным опекуном Московского опекунского совета учреждений императрицы Марии Федоровны и директором Николаевской измайловской военной богадельни.

*² Высоты находятся в Балаклавском районе между Сапун-горой и рекой Черной. Названы в честь генерала Федюхина, впервые разбившего в этих местах лагерь. Федюхины высоты стали местом боев во время сражения на Черной речке.

*³ *От фр. secours* — «помощь», «поддержка».

*⁴ Дмитрий Ерофеевич Остен-Сакен (1793–1881) — российский военачальник. Участвовал в Отечественной войне, Заграничном походе 1813–1814 годов, Персидской войне 1826–1828 годов, польской кампании 1830–1831 годов и венгерской кампании 1849 года. Во время Крымской войны был назначен начальником Севастопольского гарнизона. Историк Евгений Тарле в книге о Крымской войне отзывался об Остен-Сакене так: «На бастионы показывался не более четырех раз во все время, и то в менее опасные места, а внутренняя его жизнь заключалась в чтении акафистов, в слушании обеден и в беседах с попами».

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ
«СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ
РАССКАЗЫ» ВЫРОСЛИ
ИЗ ПРОЕКТА ЖУРНАЛА
«СОЛДАТСКИЙ ВЕСТНИК»?

Хронологически это было именно так. Еще в октябре 1854 года (то есть до перевода Толстого в Севастополь) группа офицеров-артиллеристов Южной армии, среди которых был и Толстой, придумала издавать еженедельный, с возможным переходом на ежедневный режим, журнал «Солдатский вестник» (поздний вариант названия — «Военный листок»). Был создан при деятельном и даже решающем участии Толстого проект журнала: «распространение между

воинами правил военной добродетели», правдивой информации о текущих военных событиях (в противовес «ложным и вредным слухам»), «распространение познаний о специальных предметах военного искусства», а также публикация военных песен, литературных материалов и «религиозных поучений военным». Предполагалось, что есть желающие инвестировать в проект свои средства (в том числе таким желающим был сам Толстой), организаторы заручились поддержкой главнокомандующего князя Горчакова и даже собрали пробный номер. Царь Николай (которому оставалось несколько недель до кончины) не поддержал, однако, проект, предложив участникам затеи посылать



Джироламо Индуно. Сражение на Черной речке 16 августа 1855 года. 1857 год

свои статьи в официальный военный орган, «Русский инвалид» (и даже «разрешив» им это делать, хотя понятно, что это никому не было запрещено).

Тогда Толстой попытался переформатировать затею и предложил Некрасову завести в «Современнике» постоянный военный раздел, который брался курировать. Толстой обещал поставлять ежемесячно от двух до пяти листов статей военного содержания (для сравнения: предисловие к «Севастопольским рассказам», которое вы сейчас читаете, имеет объем лист с небольшим), написанных разными квалифицированными военными авторами. Некрасов дал согласие. Какие-то статьи военных Толстой в журнал представил, но идея постоянной работы не вдохновила его соратников, и 20 марта 1855 года он занес в дневник: «Приходится писать мне одному. Напишу Севастополь в различных фазах и идилию офицерского быта». Именно в эти дни и возник у него план «Севастополя днем и ночью».

КАК ОПИСАНА ВОЙНА В «СЕВАСТОПОЛЬСКИХ РАССКАЗАХ»?

По наблюдению Виктора Шкловского⁶, в «Севастопольских рассказах» автор «пишет о необычном как об обычном». Свою концепцию остранения Шкловский строил на других произведениях Толстого («Холстомер», «Война и мир»),

но понятно, что имеется в виду ровно тот же эффект: Л. Н. Т. описывает войну от лица субъекта, который не окончательно понимает смысл происходящего, а лишь наблюдает внешние контуры явления. Интонация эта задана и четче всего проявлена в «Севастополе в декабре», страшный четвертый бастион представлен лишь как одна из городских локаций, кровь и смерть не мешают музыке на бульваре, не мешают (это уже в «Севастополе в мае») офицерам-аристократам думать об условной «красе ногтей». Война презентовалась Толстым как бытовое явление и ранее, в кавказском очерке «Набег», но севастопольский быт заметно цивилизованнее кавказского, а потому несоответствие между объективным контрастом «войны» и «мира» и интонацией Толстого, который контраста как бы не замечает, в «Севастопольских рассказах» явлено значительно ярче. Война, описанная с интонацией описания прогулки, «выводится из автоматизма восприятия»⁷, отсюда такой быющий по глазам эффект при внешнем спокойствии повествователя.

Канадская исследовательница Донна Орвин, прослеживая зависимость «Севастопольских рассказов» от «Илиады» (которую Толстой читал примерно в это время), приходит к выводу, что у Гомера Толстой научился вводить в текст реальные ужасы войны, не сгущая при этом красок. Действительно, на фоне текущей отечественной традиции Толстой

весьма откровенен. «Картина слишком кровавая, чтобы ее описывать: опускаю завесу», — писал Петр Алабин^{*18} — и опускал завесу. Толстой же не гнушается вставлять в текст труп с огромной раздувшейся головой, почернелым глянце-витым лицом и вывернутыми зрачками или кривой нож, входящий в белое здоровое тело, но эти жесткие описания не превращаются в натурализм. В литературе и искусстве не редкость, когда одно и то же лицо в статусе автора проявляет себя мудрее, сдержаннее, более зрело, чем в то же самое время в статусе «обычного человека». В синхронных дневниках и письмах Толстой горяч, невротичен и противоречив, а тут благородная сдержанность, чувство такта и меры.

И еще война, что также было весьма новаторским жестом, описана в «Севастопольских рассказах» как завораживающее зрелище. Панорамы сражений, молнии выстрелов, освещающие темное небо, звезды как бомбы и бомбы как звезды — все это не настолько грандиозно-кинематографично, как в «Войне и мире», но направление движения задано.

БЫЛ ЛИ ОРИГИНАЛЕН ТОЛСТОЙ, СМЕШИВАЯ В «СЕВАСТОПОЛЬСКИХ РАССКАЗАХ» ХУДОЖЕСТВЕННОЕ С ДОКУМЕНТАЛЬНЫМ?

Не был. Да, среди толстовских опытов такого рода еще до «Севастополя в декабре» — и уже напечатанный «Набег», и незавершенный радикальный эксперимент «История одного дня», в котором была предпринята попытка в мельчайших подробностях изобразить события и ощущения вот именно что одного конкретного дня. Но сочинения, балансирующие между «фикшен» и «нон-фикшен», — общее место для словесности середины XIX столетия.

«Записки охотника» (1847–1851) Тургенева, например, сначала печатались в том же «Современнике» в разделе «Смеси» как документальные наброски, а потом переехали в основной раздел художественной литературы. «Фрегат “Паллада”» (1852–1855) Гончарова, будучи формально отчетом о путешествии, заслуженно имеет статус чуда русской прозы. В автобиографическую трилогию (1846–1856) Сергея Аксакова входят как «Семейная хроника»,

^{*18} Петр Владимирович Алабин (1824–1896) — государственный деятель и военный писатель. Участвовал в подавлении Венгерского восстания в 1848–1849 годах, в Крымской войне. В 1855 году печатал в «Северной пчеле» «Корреспонденции с театра Крымской войны». В 1884–1891 годах Алабин — городской голова Самары, в 1892-м был снят с должности и отдан под суд за закупку некачественного продовольствия. Написал несколько книг о своем военном опыте.

в которой Аксаковы выведены под фамилией Багровы, так и «Воспоминания», в которых те же самые герои выведены под настоящей фамилией.

Вообще, значения слов, обозначающих литературные жанры, в ту эпоху отличались от привычных нам. «Возмутительное безобразие, в которое приведена ваша статья, испортило во мне последнюю кровь» — это Некрасов писал Толстому по поводу цензурного насилия над «Севастополем в мае», который современному наблюдателю показался бы «статьей» в гораздо меньшей мере, чем «Севастополь в декабре». Виссарион Белинский в предисловии к сборнику «Физиология Петербурга» (1845) жаловался, что «у нас совсем нет

беллетристических произведений, которые бы, в форме путешествий, поездок, очерков, рассказов, описаний, знакомили с различными частями беспредельной и разнообразной России»: очерки и рассказы стоят на равных в списке беллетристических произведений.

«Физиология Петербурга», ключевое издание натуральной школы (всего вышло две части альманаха), — яркий пример такого слияния дискурсов, откровенная публицистика соседствует тут с отрывком из романа Некрасова и пьесой Александра Кульчицкого «Омнибус», а в очерке Григоровича о шарманщиках после вполне «физиологического» анализа типов реальных шарманщиков вдруг появляется



Руины Баракковской батареи. 1855–1856 годы. Фотография Джеймса Робертсона

откровенно художественный персонаж Федосей Ермолаевич. Именно, кстати, к этому очерку о шарманщиках Достоевский предложил своему соседу по квартире знаменитую поправку: у Григоровича в рукописи стояло «пятак упал к ногам», а Достоевский сказал, что лучше написать «пятак упал на мостовую, звеня и подпрыгивая». Григорович все равно недокрутил, поставил менее эффектно: «пятак упал, звеня и прыгая, на мостовую» — но сам факт свидетельствует об отношении к жанру очерка как к высокой словесности.

Позже сам Толстой сформулирует (по поводу «Войны и мира»): «...в новом периоде русской литературы нет ни одного художественного прозаического произведения, немного выходящего из посредственности, которое бы вполне укладывалось в форму романа, поэмы или повести».

В ЧЕМ ЖЕ ОТЛИЧИЕ ОПЫТОВ ТОЛСТОГО ОТ НАТУРАЛЬНОЙ ШКОЛЫ?

В частности, в ином отношении к изображаемому человеку. Даже для Тургенева и Даля, не говоря о менее талантливых авторах, объект — это «другой», выведенный с изрядной долей этнографичности. Его можно пожалеть или высмеять (снихождение — постоянная интонация), но он всегда отделен от автора непроницаемой перегородкой.

Григорович пишет об улицах как о декорациях, В. Луганский (псевдоним Владимира Даля) называет уличные сценки «позорищем» (устарелое обозначение театрального зрелища): наблюдение за шевелением жизни — привилегия праздного наблюдателя.

У Толстого повествователь тоже находится в ином измерении, но при этом ясно, что «другое измерение» — стилистическая фигура, решение конструктивных и философских проблем, а не способ подчеркнуть свое превосходство. Интерес Толстого к другому человеку — естественный, а не заданный рамками «литературного направления». По важному наблюдению литературоведа Георгия Лесскиса, поиски Толстым «правды» не противоречат желанию показывать в людях «доброе» и «хорошее». «Только в эстетике так называемого критического реализма установка на “правду” означала установку на “разоблачение” человека...»⁹

ИЗОБРЕЛ ЛИ ТОЛСТОЙ В «СЕВАСТОПОЛЬСКИХ РАССКАЗАХ» ПОТОК СОЗНАНИЯ?

Вопрос о патенте на те или иные приемы в искусстве, как правило, бессмыслен, ибо всегда существует большое количество переходных форм, не говоря уж о методах, которыми мы устанавливаем первенство какого-либо

претендента. Однако имеет смысл заметить, что последние две страницы 12-й главы «Севастополя в мае», описание мыслей Праскухина в одну последнюю секунду его жизни, мыслей, в которых смешивается жизнь и смерть, некогда любимая женщина в чепце с лиловыми лентами, оскорбивший давным-давно человек, ревность к Михайлову, двенадцать рублей карточного долга, ненужный подсчет пробегающих мимо солдат — эти две страницы для иллюстрации термина «поток сознания» подходят ничуть не хуже, чем любая страница «Улисса» (а сама растянутая секунда напоминает о конструкции рассказа Амброза Бирса «Случай на мосту через Совинный ручей»).

Сам Толстой позже не раз прибегал к потоку сознания; особо выразительный и знаменитый пример — мысли Анны Карениной по дороге на станцию Обирюковку.

КАК УСТРОЕН ИСТОЧНИК ГОЛОСА В «СЕВАСТОПОЛЬСКИХ РАССКАЗАХ»?

«Севастополь в декабре» написан от сложно устроенного второго лица. «Вы подходите к пристани — особенный запах каменного угля, навоза, сырости и говядины поражает вас»; на первый взгляд, «вы» здесь можно содержательно заменить на «я» («я подхожу», «меня

поражает»). Но по всему тексту разбросаны маркеры присутствия за спиной этого «вы» некоей руководящей инстанции, которая то предложит: «Посмотрите хоть на этого фуриштатского солдата», то введет странную модальность («до слуха вашего долетят, может быть, звуки стрельбы») и, кроме того, постоянно забегают вперед: «вы увидите» так запросто не заменить на «я вижу» — сама форма задает неопределенность источника голоса.

Исследователи, пытаясь определить эту особенность «Севастополя в декабре», вынуждены прибегать к приблизительной терминологии. Шкловский писал¹⁰, что это рассказ «как бы с невидимым, прозрачным автором, скрытым стилем, с погашенным ощущением выражений». Лескис — что это имитация рассказа от первого лица, а на самом деле от второго, но рассказчик располагается «в другом пространстве»¹¹, что явно противоречит его наблюдаемому присутствию в госпитале и на поле боя. Рассказчик, похоже, не может определиться, кто он — тот, кто показывает, или тот, кому показывают.

В «Севастополе в мае» Толстой словно бы разрубает противоречия одним ударом, занимая памятную всем по «Войне и миру» позицию верховного автора. Эйхенбаум считает¹² «звучащий сверху авторский голос» важнейшим художественным открытием, отмечает, что знаменитые внутренние монологи толстовских персонажей становятся

возможны лишь именно благодаря такой верховной точке зрения. Но такую точку зрения трудно соблюсти до конца, в тексте то и дело возникают зоны, в которых автор ориентируется неуверенно: так, рассказчик некоторое время сомневается, кто такой Михайлов («Он должен был быть или немец, ежели бы не изображали черты лица его чисто русское происхождение, или адъютант, или квартирмейстер»^{*1} полковой (но тогда бы у него были шпоры), или офицер, на время кампании перешедший из кавалерии, а может, и из гвардии»), а потом высказывает сам у себя из-за спины и дает верный ответ.

Кроме того, значительная часть «Севастополя в мае» — это прямые публицистические пассажи: «Герой же моей повести... правда», «Мне часто приходила... мысль» — и это «я» скорее принадлежит юридическому автору рассказа, чем верховному повествователю. Эйхенбаум в своем раннем труде о Толстом называет это «типичной речью оратора или проповедника»¹³ (занятно, что образ нарратора раздваивается в мыслях одного ученого: в раннем исследовании нет речи о верховной точке зрения, в позднем — забыт проповедник). То ли это ораторское «я», то ли верховный повествователь к тому же постоянно вступает в перебранку с персонажами, уличает их в обмане или неточности,

что дополнительно размывает представление об источнике голоса. В «Севастополе в августе» Толстой как бы слегка сдает назад: там вещает тот же свежобретенный верховный автор, но свое всеведение он проявляет скромнее.

Дополнительное напряжение и в том, что Толстой хочет считать точку зрения своих персонажей не менее ценной, чем свою собственную, сколь бы верховной последняя ни была. Так Толстой приходит к идее ракурсов, разных способов видеть. В «Севастополе в мае» используется классическая монтажная кинематографическая восьмерка: русские воины видят то-то и то-то, видимые русскими французы видят то-то и то-то. Кинорежиссер Михаил Ромм, не упоминая этой восьмерки, тем не менее неоднократно обращается к прозе Толстого как к примеру виртуозного режиссерского сценария, пишет о «тончайшем монтажном видении писателя», в одном из батальных эпизодов «Войны и мира» обнаруживает смену семи или восьми панорам¹⁴. В «Севастопольских рассказах» размах поскромнее, но монтажный эффект присутствует, взгляд передается то одному, то другому персонажу, крупные планы уступают место общим и пр.

Совместить («Сопрягать надо!» — так Пьер Безухов услышит в полусне слова фореятора «запрягать надо») часто несовместимые точки зрения и ракурсы,

^{*1} Или квартирмейстер. Должностное лицо в армии, которое занимается размещением войск по квартирам и снабжением их продовольствием.

«правды» и «нарративы», совместить и обнаружить, что точно они пригнаны быть не могут, все равно торчат противоречия и разъезжаются швы, — это, собственно, формула «Войны и мира», и мы видим, что она была опробована уже в «Севастопольских рассказах». На самом деле даже и раньше: рассказ «Записки маркера» (1853) состоит из двух частей, одна — записки трактирного служащего, а вторая — предсмертное письмо игрока, причем между двумя точками зрения остается зазор, манифестация невозможности завершения смысла.

МОЖНО ЛИ НАЗВАТЬ «СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ РАССКАЗЫ» ПАТРИОТИЧЕСКИМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ?

Сама постановка вопроса может показаться избыточной; действительно, почему непременно нужно рассматривать художественный текст, пусть и посвященный войне, именно с этой огнеопасной точки зрения? Тем более огнеопасной в российском контексте: почти всегда есть тяжеловесная константа, смысл которой в том, что с официальной точки зрения патриотизмом

считается положительное говорение обо всем отечественном во всех ситуациях. Иные способы говорения расцениваются как антипатриотические, вплоть до предательства, в зависимости от градуса отклонения от константы. Вокруг нее всегда роятся возражения, версии иного отношения к вопросу, но беда их в том, что они вынуждены вращаться вокруг одного и того же официального общего места.

Однако автор «Севастопольских рассказов» сам активно провоцирует этот разговор. Причина, видимо, в том, что для Толстого этот, для многих надуманный, патриотический вопрос всегда имел до боли конкретную проекцию: отношения со своими собственными крестьянами, переживание своего сословного статуса.

«Из Кишинева 1 ноября я просился в Крым... отчасти для того, чтобы вырваться из штаба Сержпутовского^{*1}, который мне не нравился, а больше всего из патриотизма, который в то время, признаюсь, сильно нашел на меня», — признавался Толстой в письме брату Сергею чуть задним числом, в июле 1855-го, и здесь важна эта конструкция — «нашел на меня»: патриотизм представляется как некая внешняя захватывающая сила.

Первое же письмо тому же адресату, написанное сразу по прибытии

^{*1} Адам Осипович Сержпутовский (? — 1860) — российский военачальник. Был генерал-лейтенантом, начальником артиллерийских войск в Дунайской армии. Толстой, состоявший при нем по особым поручениям, не любил его, называл в дневниках «старым башибузуком» и «глупым стариком», просил о переводе — но дружил с его сыном Осипом.

в Севастополь 20 ноября 1854-го, воспевало русскую армию. «Дух в войсках выше всякого описания. Во времена Древней Греции не было столько героизма. <...> Рота моряков чуть не взбунтовалась за то, что их хотели сменить с батареи, на которой они простояли 30 дней под бомбами. <...> В одной бригаде... было 160 человек, которые раненные не вышли из фронта...» — это лишь начало потока восторгов. При этом в дневниковой записи, сделанной уже 23 ноября, через три дня, есть следы совсем других впечатлений: «...Россия или должна пасть, или совершенно преобразоваться». Первый севастопольский рассказ гораздо ближе к первому из двух обозначенных этими цитатами полюсов: в нем нет совсем уж оголтелого восторга, но героико-патриотическая интонация — налицо.

Одна из очевидных слабостей человека — готовность и даже потаенная потребность присоединяться к массовым переживаниям, а в ситуации войны патриотические лозунги кажутся, вероятно, еще и средством психологической самозащиты. Толстому льстило, что «Севастополь в декабре» понравился императору, что его перепечатывают газеты, в «Севастополе в мае» он описывает, с какой жадностью провинция читает «Инвалид» с описанием подвигов; редакцию «Современника» огорчила перепечатка рассказа в «Русском инвалиде», но только потому, что «Инвалид» расходился по России быстрее,

чем «Современник», и тем самым отнимал у журнала славу первоиздателя. «Добрым патриотизмом, из тех, что действительно делают честь стране» назвал первый рассказ крымского цикла даже Петр Чаадаев.

Конечно, эйфория Толстого была ситуативна и длилась недолго, он прекрасно видит глупость руководства и воровство в армии, адекватно оценивает моральный уровень офицерства; название сочиненной тогда же записки «Об отрицательных сторонах русского солдата и офицера» говорит само за себя. В центре второго рассказа — мелкие чувства (которые Толстому тем легче было описывать, что в дневниках он сам себя постоянно клеймит за «тщеславие»), руководящие поведением человека на войне: от героизма не осталось и следа.

«Прогрессивная» критика разных эпох (продвинутой славянофилом Орест Миллер в 1886-м, ярко талантливый популяризатор-алкоголик Евгений Соловьев в 1894-м и, конечно, ученые советского времени) представляла коллизию «Севастополя в мае» так, что мелкими чувствами руководствуется белая кость, а «солдат не таков, он совершенно иначе относится к войне» (Миллер). Хороший «народ», таким образом, противопоставляется плохой «аристократии»: скажем, Константин Леонтьев, не поддерживающий тезис о хорошем народе, все равно признавал присутствие в рассказе этой этической

симметрии, с той разницей, что порицал, а не хвалил Толстого за «чрезмерное поклонение мужику, солдату армейскому и простому Максиму Максимычу».

Проблема, однако, в том, что «плохие» аристократы в рассказе пусть без симпатии, пусть пунктирно, но выведены, в то время как «хороший» солдат на протяжении всего цикла остается слипшейся массой (и в таком же абстрактном виде, с небольшими исключениями, перетечет в «Войну и мир»), а о симпатии к слипшейся массе говорить все же абсурдно.

Все помнят «скрытую теплоту патриотизма» из «Войны и мира», там она назначается на роль некоего топлива, которое поддерживает боевой дух, но в ком? — все в той же нерасчлененной толпе, потому и обозначена она таким слегка невнятным словосочетанием. В «Севастополе в мае» Толстой называет любовь к родине чувством редко проявляющимся, «стыдливым в русском», и тут он явно говорит о себе. Патриотизм — это то, от чего невозможно избавиться вовсе, но его придется стыдиться. Первый рассказ при публикации в «Современнике» содержал слова «Велико, Севастополь, твое значение в истории России! Ты первый служил выражением идеи единства и внутренней силы русского народа» — при подготовке сборника «Военные рассказы» автор их вычеркнул. Во второй рассказ, ублажая цензуру, Панаев вписал

фрагмент: «Но не мы начали эту войну, не мы вызвали это страшное кровопролитие. Мы защищаем только родной край, родную землю и будем защищать ее до последней капли крови». При подготовке «Военных рассказов» Толстой эти фразы не выловил, но позже сердито вычеркивал из уже напечатанных экземпляров.

Вопрос о «патриотизме» плотно слипается с вопросом «народа», и амбивалентные чувства Толстого вызваны, надо полагать, столь же амбивалентным его отношением к «мужику». Теоретически, по естественным нравственным понятиям, крестьянин ровно такой же человек, как аристократ, и заслуживает равных прав и уважительного отношения. Практически Толстой часто наблюдал у мужиков в жизни (и отражал это в текстах) качества, сильно мешающие говорить о них как о равных. Рассказывая брату в письме о Севастополе, Толстой упоминает жалкого егеря, «маленького, вшивого, сморщенного какого-то» и предполагает писать в журнале «о подвигах этих вшивых и сморщенных героев». Это кричащее противоречие разрешено в «Севастополе в мае» тем, что уничижительные слова вложены в уста отрицательного князя — «Вот этого я не понимаю и, признаюсь, не могу верить, — сказал Гальцин, — чтобы люди в грязном белье, во вшах и с неумытыми руками могли бы быть храбры. Этак, знаешь, *cette belle*

bravoure de gentilhomme*¹, — не может быть». Но для нас, знающих текст писем и дневников, а также для самого Толстого этой простой переадресацией проблема не решается. Тут уместно вспомнить и будущий синдром князя Андрея: имея о своих мужиках крайне невысокое мнение, он тем не менее, влекомый чувством чести, стремится делать для них добро.

В «Севастополе в августе» Толстой попробовал приблизиться к синтезу, сблизить полюса. Рассказ (как и реальный август 1855-го) заканчивается поражением русских войск. Жестокое поражение — вот что может быть одинаково понятно сердцу всякого русского. Сейчас будет очень длинная цитата.

Несмотря на увлечение разнородными суетливыми занятиями, чувство самосохранения и желания выбраться как можно скорее из этого страшного места смерти присутствовало в душе каждого. Это чувство было и у смертельно раненного солдата, лежащего между пятьюстами такими же ранеными на каменном полу Павловской набережной и просящего Бога о смерти, и у ополченца, из последних сил втиснувшегося в плотную толпу, чтобы дать дорогу верхом проезжающему генералу, и у генерала, твердо распоряжающегося переправой и удерживающего торопливость

солдат, и у матроса, попавшего в движущийся батальон, до лишения дыхания сдавленного колеблющейся толпой, и у раненого офицера, которого на носилках несли четыре солдата и, остановленные спершимся народом, положили наземь у Николаевской батареи, и у артиллериста, шестнадцать лет служившего при своем орудии и, по непонятному для него приказанию начальства, сталкивающего орудие с помощью товарищей с крутого берега в бухту, и у флотских, только что выбивших закладки в кораблях и, бойко гребя, на баркасах отплывающих от них. Выходя на ту сторону моста, почти каждый солдат снимал шапку и крестился. Но за этим чувством было другое, тяжелое, сосущее и более глубокое чувство: это было чувство, как будто похожее на раскаяние, стыд и злобу. Почти каждый солдат, взглянув с Северной стороны на оставленный Севастополь, с невыразимую горечью в сердце вздыхал и грозился врагам.

Сказано мощно, но едва ли многие согласятся считать смерть и страх естественным способом разрешить дамоклов российский вопрос «патриотизма».

*¹ Этой прекрасной храбрости дворянина (*фр.*).

Севастопольские рассказы



Севастополь в декабре месяце

Утренняя заря только что начинает окрашивать небосклон над Сапун-горю; темно-синяя поверхность моря сбросила с себя уже сумрак ночи и ждет первого луча, чтобы заиграть веселым блеском; с бухты несет холодом и туманом; снега нет — все черно, но утренний резкий мороз хватает за лицо и трещит под ногами, и далекий неумолкаемый гул моря, изредка прерываемый раскатистыми выстрелами в Севастополе, один нарушает тишину утра. На кораблях глухо бьет восьмая склянка.

На Северной денная деятельность понемногу начинает заменять спокойствие ночи: где прошла смена часовых, побрякивая ружьями; где доктор уже спешит к госпиталю; где солдатик вылез из землянки, моет оледенелой водой загорелое лицо и, оборотясь на зардевшийся восток, быстро крестясь, молится Богу; где высокая тяжелая *маджара* на верблюдах со скрипом протащи́лась на кладбище хоронить окровавленных покойников, которыми она чуть не доверху наложена... Вы подходите к пристани — особенный запах каменного угля, навоза, сырости и говядины поражает вас; тысячи разнородных предметов — дрова, мясо, туры, мука, железо и т. п. — кучей лежат около пристани; солдаты разных полков, с мешками и ружьями, без мешков и без ружей, толпятся тут, курят, бранятся, перетаскивают тяжести на пароход, который, дымясь, стоит около помоста; вольные ялики, наполненные всякого рода народом — солдатами, моряками, купцами, женщинами, — причаливают и отчаливают от пристани.

— На Графскую, ваше благородие? Пожалуйте, — предлагают вам свои услуги два или три отставных матроса, вставая из яликов.

Вы выбираете тот, который к вам поближе, шагаете через полусгнивший труп какой-то гнедой лошади, которая тут в грязи лежит около лодки, и проходите к рулю. Вы отчалили от берега. Кругом вас блестящее уже на утреннем солнце море, впереди — старый матрос в верблюьем пальто и молодой белоголовый мальчик, которые молча усердно работают веслами. Вы смотрите и на полосатые громады кораблей, близко и далеко рассыпанных

по бухте, и на черные небольшие точки шлюпок, движущихся по блестящей лазури, и на красивые светлые строения города, окрашенные розовыми лучами утреннего солнца, виднеющиеся на той стороне, и на пенящуюся белую линию бона и затопленных кораблей, от которых кой-где грустно торчат черные концы мачт, и на далекий неприятельский флот, маячащий на хрустальном горизонте моря, и на пенящиеся струи, в которых прыгают соляные пузырьки, поднимаемые веслами; вы слушаете равномерные звуки ударов весел, звуки голосов, по воде долетающих до вас, и величественные звуки стрельбы, которая, как вам кажется, усиливается в Севастополе.

Не может быть, чтобы при мысли, что и вы в Севастополе, не проникло в душу вашу чувство какого-то мужества, гордости и чтоб кровь не стала быстрее обращаться в ваших жилах...

— Ваше благородие! прямо под Кистентина*¹ держите, — скажет вам старик матрос, оборотясь назад, чтобы поверить направление, которое вы даёте лодке, — вправо руля.

— А на нем пушки-то еще все, — заметит беловолосый парень, проходя мимо корабля и разглядывая его.

— А то как же: он новый, на нем Корнилов жил, — заметит старик, тоже взглядывая на корабль.

— Вишь ты, где разорвало! — скажет мальчик после долгого молчания, взглядывая на белое облачко расходящегося дыма, вдруг появившегося высоко над Южной бухтой и сопровождаемого резким звуком разрыва бомбы.

— Это *он* с новой батареи нынче палит, — прибавит старик, равнодушно поплеывая на руку. — Ну, навались, Мишка, баркас перегоним. — И ваш ялик быстрее подвигается вперед по широкой зыби бухты, действительно перегоняет тяжелый баркас, на котором навалены какие-то кули и неровно гребут неловкие солдаты, и пристаёт между множеством причаленных всякого рода лодок к Графской пристани.

На набережной шумно шевелятся толпы серых солдат, черных матросов и пестрых женщин. Бабы продают булки, русские мужики с самоварами кричат: *сбитень горячий*, и тут же

*¹ Корабль «Константин». — Прим. Л. Н. Толстого.